Рисунок Марины Медведевой

«Олрайт», — сказал Емеля

Чем сильнее иностранец изучает Россию, тем сильнее влюбляется в нее. В России есть магнитная притягательность женственности, вековая мудрость, добрый юмор и спокойное терпение. Особенно любят Россию те, кто занимается русским языком, — филологи и переводчики. Мне везло на переводчиков, хотя даже лучшие из них часто ставили меня в тупик своими вопросами.

— А что такое голик? А что такое рига? Разве это не столица Латвии? И почему коса для травы — литовка? И почему у вас написано: ограда до Петрограда ветру рада?

Я терпеливо объяснял:

— Ну, значит, нет никакой ограды. Бедность. Или мужик такой ленивый или пьяница, что даже ограду не может сделать.

Но вообще мы всегда как-то выкарабкивались, находя похожие слова или выражения. Но, конечно, я понимал, что читатели за рубежом так никогда и не поймут, что подберезовик — это обабок, и что есть еще обабок, бабка — суслон, а что суслон — это снопы, составленные особым образом, а снопы — это связанные свяслом колосья, а свясла — это те же колосья, скрученные для крепости жгутом. Конечно, видимо, и слово «голик» они понимали как бывший веник. Так оно и было, бывший веник, потерявший листья на службе в избе и выселенный на крыльцо для несения героической службы по обметанию валенок от снега. И что еще до работы в избе веник работал в бане, выбивал из хозяев разнообразные хвори. Где уж там было объяснять, что последний ребенок в семье — заскребышек, что это вовсе не от того, что ближе к весне приходится «по амбарам помести, по сусекам поскрести». И почему в амбаре метут, а в сусеке скребут? И как объяснить, что подполье — это не только большевистское, но и место для хранения картошки?

Это нам, русским, сразу все понятно, до иностранцев все доходит медленнее, а чаще всего не доходит, и они ищут облегченную замену для понимания.

— Вот у вас такая фраза, — спрашивала меня немка-переводчик. — «Этот Витя из всех Витей Витя».

— Ну да, из всех Витей Витя.

— Это у нас не поймут. Надо как-то иначе.

— Ну-у, — вслух думал я. — Давайте: этот Витя еще тот Витя. Да, пожалуй, так даже лучше: еще тот Витя.

— Это тем более не поймут. Подумают, что этот Витя похож на того Витю. То есть их два: этот и тот.

— Вот то-то и оно-то, — говорил я, — что он не тот, хотя он еще тот. Он еще тот Витя.

Мы начинали искать общеупотребительное слово, синоним выражения, перебирали слова: шаромыжник, прохиндей, мошенник... Нет, Витя под эти мерки не подходил, это был еще тот Витя, переводу не поддавался и уходил за границу сильно упрощенным.

— Вот я назову повесть, — сказал я переводчице, — и тебе снова не суметь ее перевести. Вот переведи: «Как только, так сразу».

Переводчица тяжко вздыхала, а я ее доколачивал:

— И в эту повесть включу фразу: «Шлялась баба по базару распьяным-пьяна-пьянехонька», как переведешь? Да никак. Ни по какому базару у вас не шляются, да и базара нет. И она, заметь, не ходит, не слоняется, не шлендает, она именно шляется. И хотя распьяным-пья-

на-пьянехонька, но какую-то цель обязательно имеет. Иначе зачем бы шлялась.

— Может быть, — вспомнила переводчица выражение, — она погоду пинает?

— Это для нее пройденный этап. Вчера пинала, сегодня шляется. Да, товарищи немцы, были мы для вас непонятны, такими и остаемся. Но в утешение тебе скажу, что для англичан мы еще более непонятны. Вот сидит у меня дочь, учит английский, обратный перевод русской сказки с английского. Сказка называется «Приказ щуки».

— У вас есть такая сказка? — заинтересовалась переводчица. — Я очень много занималась фольклором, такой не помню.

— Это сказка «По щучьему веленью».

— О да, есть.

— Вот. У них же, на английском, веленья, видимо, нет. Так вот, читает, переводит: «Жены братьев говорят Емеле: “Организуй доставку воды с реки, иначе наши мужья, твои братья, не зайдут в городе в супермаркет, не привезут тебе презента”». Каково? Нет у них, оказывается, ни гостинчика, ни ярмарки. «Олрайт», — сказал Емеля и пошел организовывать доставку воды.

— Трудно, — вздохнула переводчица. — Я бы ближе перевела, но на гостинчике бы запнулась. Хотя гостинец у нас есть. Подарок.

— Нет, тут именно гостинчик.

Переводчица задала интересный вопрос:

— А вот Витя, о котором мы говорили, он мог бы в свое время быть Емелей?

— Вряд ли, — протянул я, — вряд ли. Емеля бесхитростней, он — как Ванюшка. Кстати, слово «Ванюшка» тоже для вас непереводимо, у вас только Иван да Ваня. А как же Ванек, как же такая фраза: «Сашка-то, ухорез, ухарь, на ходу подметки рвет, а Петька ваньковатый»? Так вот Ванюшка из сказки «Конек-горбунок» у вас, наверное, в переводе: маленький конь с большим горбом, а?

— Я не помню, переводили ли ее у нас? — задумалась переводчица.

— Бесполезно и переводить. Так вот, этот Ванюшка говорит братьям, когда они его обманули: «Хоть Ивана вы умнее, да Иван-то вас честнее». И по выводу сказки именно честному Ване достается царство. Для меня в этом Ване одна загадка: когда он достает для царя царь-девицу, то он критически оценивает ее красоту: «А ножонка-то, ножонка, тьфу ты, словно у цыпленка, пусть понравится кому, я и даром не возьму». Вот. А когда превращается в добра молодца, не доброго, хотя добрый молодец, конечно, добрый, так вот когда превращается в добра молодца, то эту царь-девицу берет в жены. Ну, тут уж она его сама не отпустит, вкогтилась. Она же вкогтилась. Сильнее глагол. А у вас спросят: разве у нее когти, а не ногти? Она ж с маникюром.

Переводчица засмеялась.

— Ну-у, — почесал я в затылке, — о женщинах только начни. У вас, наверное, только «фрау» да «вайб», женщина и баба?

— Вайбкляйн — маленькая баба, — добавила переводчица.

— Ростом маленькая, значением? Чем? О, у нас обилие этих баб. Можно сообщить?

— Записываю.

— Записать можно, перевести невозможно. Вот бабенка — это веселая, разбитная. К ней где-то близко бабешка — шальная, может быть, не очень усердная на хозяйство, но на веселье всегда пожалуйста. Бабища — это не обязательно габариты, не полнота, не вес, это, может быть, характер. Не путать с бабехой — это дама бесцеремонная, громогласная. Вот бабочка — это не мадам Баттерфляй, это может быть и аккуратная бабочка, может быть и заводная.

— Заведенная?

— Нет, заводная. Или вот на мужском жаргоне, когда обсуждают достоинства женщин, говорят про иную: «Отличный бабец!» Или: «Бабенция без комплексов». Или ласково: «Веселый бабенчик». Не бубенчик под дугой, а бабенчик. Но почему в мужском роде, не знаю. Может быть, это юношеское про общую подругу: «Наташка — свой парень». Но бабенчик, опять же, не бабеночка, бабеночка постарше. Да, вот, кстати, для улыбки, литературный анекдот. Исаак Бабель написал «Конармию». К командующему Первой Конной Буденному приходят и спрашивают: «Семен Михайлович, вам нравится Бабель?» Он отвечает: «Смотря какая бабель».

Но серьезно хочу сказать, что богатство русского языка — это не так просто, это богатство мышления. Чем у человека больше слов, тем он глубже и разнообразнее мыслит. Так что сочетание «русский ум» — это не пустые слова.

Вот оттого, что переводы русских трудны, Запад переводит не русских писателей, а русскоязычных. Наш пен-клуб, например. Конечно, зная русский, ты понимаешь, что в просторечии он не пен, а пень-клуб.

Всегда мы были богаты, сорили богатством. Вася на Васе, семь в запасе, то есть полно всего, а я вот схватился за полное собрание русских загадок, читаю, а из них три четверти умерли. Не слова умерли, выражения — явления умерли, предметы, только словесная оболочка, идея предметов. Двор, поле, упряжь, сельхозработы, лес, вообще образ жизни, — все изменилось. Страшное нашествие уголовных терминов: вер-

тухай, запретка, пали малину, шлангуешь, замастырить, стибрить, слямзить, свистнуть, стянуть, скоммунизмить... А связанное с пьянством: косорыловка, табуретовка, сучок, бормотуха, гнилуха, стенолаз, вмазать, втереть, жахнуть, остограммиться... неохота перечислять, срам. А еще срамнее всякие консенсусы, саммиты, ваучеры... все это, конечно, проваливается в преисподнюю, но возникают всякие менеджменты. А менеджер, кстати, по-русски это приказчик — прекрасное слово.

И еще нашествие идет, главное нашествие — на язык церкви, церковнославянский. Очень простой, доступный, божественный язык. Называется богослужебный. И на него атаки — заменить на современный. Это же прямая измена всей русской истории: на этом языке молились наши предки. Как менять? Вот это и будет пропасть, в которую нас влекут. Просто ближе к престолу Небесному.

Переводчица, вздохнув, закрывала исписанный блокнот. Утешая ее, я сказал на прощание:

— А в чем разница между молодушкой и молодяшкой? Этот вопрос труден уже и для русских. Молодушка — это недавно вышедшая замуж, а молодяшка — это молодая кобылка. Уже не стригунок, но и не кобылка, еще не жеребилась. А зеленая кобылка — это вообще кузнечик. И это не маленький кузнец, не подручный в кузнице, а насекомое такое, на него хорошо голавль берет.

— Спасибо, — с чувством благодарила замученная мною переводчица.

Я же, войдя во вкус, отвечал:

— Спасибо не булькает. Спасибом не укроешься. Спасибо в карман не положишь. От спасиба не откусишь. Спасибо — много, хватит и рубля. Из спасиба бушу не сошьешь. Спасибом сыт не будешь. Так что — гран мерси.

Японский лифтер

В далекой Японии, на берегу озера Бива, нас поселили в старинную, трехэтажную, гостиницу. Вся в зелени, с выгнутой по краям изумрудной и очень блестевшей после дождя крышей, она смотрелась в озеро витражами стекол и была очень уютна. Еще, вдобавок, она была знаменита: в ней, будучи еще наследником русского престола, останавливался император Николай II.

По стриженым лужайкам бродили кричащие павлины, вздымая разноцветные фонтаны своих хвостов, меж павлинов перешлепывали свои жирные тела белые и черные кролики, а на берегу совершенно неподвижно сидели терпеливые рыбаки, на дело которых я ходил смотреть ранним утром и уже с ними здоровался.

Возвращался к завтраку, восходил по коврам на резное крыльцо, дверь передо мной кем-то невидимым открывалась, и я входил под звяканье колокольчика на ковры вестибюля. Огромные аквариумы вдоль стен, свисающая с потолка не искусственная зелень, разноцветные бумажные фонарики — все это было очень красиво. А еще в вестибюле был лифт, в который меня каждый раз вежливо и приветливо приглашал мальчик-лифтер. Но я жил всего на втором этаже, и было как-то странно — ехать так близко.

Лифт всегда стоял открытым, и проехаться в нем очень хотелось. Очень он нарядно был разубран. Освещался гирляндами огоньков, зеркала во все стены были расписаны такими цветами, что человек, отражаясь в них, чувствовал себя в райском саду. Тем более в лифте были еще и клетки с разноцветными птичками. Лифт, думал я, сохранился как реликвия, в нем возили всяких важных мандаринов или, вот, нашего цесаревича. Но вообще, я видел, что лифтом иногда пользовались, и отнюдь не мандарины.

И я решился. Вернувшись после долгой, счастливой утренней прогулки по берегу озера, умывшись его чистой водой и побывав свидетелем поимки двух рыб, я энергично вошел в вестибюль и поздоровался с мальчиком-лифтером. Он звал меня внутрь лифта. И я вошел. И оказался в дивном маленьком шатре. Лифтер приветливо и вопросительно смотрел на меня. Мне по-прежнему казалось, что глупо ехать на второй этаж, и я показал три пальца: на третий. Двери закрылись, как дуновение ветра, птички зачирикали, мы все враз поехали. Поехали так мягко, неслышно, так нежно, даже как-то трепетно, что это был не подъем, а какое-то вознесение на бережных ладонях.

Ну вот — третий этаж. Двери растворились. Растворились в самом прямом смысле, так они воздушно исчезли, и я шагнул на узорные ковры третьего этажа. И что? И конечно, пошел к лестнице на свой второй этаж. Но тут случилось вот что: мальчик-лифтер догнал меня и, схватив за рукав, показал на открытый лифт. Мол, зачем ты пошел пешком, если можно ехать. Ну как ему было объяснить, что я живу на втором этаже? Я вернулся в лифт. Снова запели птички, снова я отразился в зеркалах среди райских цветов. И опять же, не ехать же всего на один этаж, я показал один палец: на первый.

Приехали на первый. И я, естественно, пошел на свой, второй. И опять меня догнал мальчик-лифтер и опять зазвал в лифт. И опять привез меня на третий этаж. Я вышел, отошел немного и притворился, что

рассматриваю старинную гравюру — битву самураев с кем-то. Скосил глаза — лифт стоял. А время меня подпирало, надо было завтракать и идти на конференцию. Я повернул к лестнице. Лифтер выскочил из лифта и кланялся. Тут уж пришлось показать ему два пальца, выдать этаж, на котором живу.

Он, конечно, решил, что русский бородатый дядя не может считать до трех, ибо зачем же я ехал на третий этаж, если мой номер на втором? Я понял, что мальчика очень насмешило мое поведение. Да ведь и я смеялся над собой. И в последующие дни мы с ним весело раскланивались, и я уже смело ехал с ним до второго, отражаясь в искрящихся разноцветными огоньками зеркалах.

Я попросил профессора Накамото, который превосходно знал русский язык, сказать мальчику-лифтеру, что русский дядя очень неграмотный, он даже не может считать до трех. Профессор, выслушав мой рассказ о поездках на лифте, очень смеялся. И конечно, ради шутки, перевел мою просьбу. Я это понял, когда увидел, что мальчик, завидя меня, даже стащил с головы свою круглую шапочку и прыснул в нее, скрывая улыбку.

А однажды я увидел его, когда он меня не видел. Он сидел как маленький старичок в своем разноцветном укрытии и был очень печален. Да и то сказать, легко ли — он работал по, самое малое, четырнадцать часов в день, я и не видел, чтоб его подменяли.

Перед отъездом я подарил ему русскую матрешку. Ах, как он обрадовался! Он побежал в лифт, в свой домик, и показал мне, что матрешка будет стоять между клетками двух птичек. И что в его клетке будет теперь повеселее.

А когда мы совсем уезжали и вынесли вещи в вестибюль, он подбежал ко мне и подарил сделанную из легких перышек игрушку-птичку. Подошел автобус. Мальчик вырвал у меня из рук нагруженную книгами и альбомами сумку и потащил к автобусу. Когда я протянул ему деньги, он прямо отпрыгнул от них. Накамото-сан сказал, что он нес сумку не из-за чаевых, а от чувства дружбы. Автобус тронулся. Мальчик-лифтер стоял на крыльце и кланялся, приложив руку к сердцу. Таким я его и запомнил.

Я улетел из Японии и стал жить дальше. И часто вздохну и вспомню озеро Бива, гостиницу, лифт, этого мальчишку и то, что моя матрешка ездит с ним вверх и вниз. Может, и он иногда вспоминает бородатого русского дядю, который не умеет считать до трех.

Эти непонятные русские

До меня дозвонился японский профессор-русист и попросил помочь в двух вопросах. Во-первых, помочь навестить одного русского писателя, который был за городом на излечении, а во-вторых, поговорить на одну, как он выразился, совсем не японскую тему. Но и не русскую.

Я этот санаторий, где был писатель, знал и согласился съездить туда с радостью: и с писателем повидаюсь, и за городом побываю, много ли мы на воздухе бываем.

— Давайте прямо с утра пораньше, — сказал я. — Доедем часа за три, много за четыре.

Профессор задал два вопроса:

— Прямо с утра пораньше — это когда? А много за четыре — это как?

— Ну, как выйдет, — отвечал я, — может, и в два с половиной получится. А с утра пораньше надо, с утра электрички лучше ходят.

— Как лучше ходят?

— Ну, особо не капризничают. А после десяти их лихорадит.

Профессор, видимо, решил, что наши электрички одушевленные существа: то они капризничают, то их лихорадит.

— Хорошо, — подвел я итог первой договоренности, — мы вчерне договорились, а конкретно я вам еще позвоню.

Ехать надо было с Белорусского вокзала. До него я никак не смог дозвониться, а в общей справочной давали сведения только на дальние рейсы. Тогда я решил попросить профессора приехать к семи часам, а самому приехать пораньше, разведать. Мы договорились встретиться у памятника Горькому — место заметное.

— С такси не связывайтесь, плюньте, — сказал я, — у вас прямая линия, без пересадок, «Театральная» — «Белорусская», а памятник среди площади, не растеряемся.

— Не растеряемся, будем находчивыми, так? — спросил профессор.

Утром, примчавшись на вокзал, я увидел в расписании, что есть электричка до Можайска (а нам надо было до Кубинки), электричка хорошая, мало остановок, но она уходила около семи. И если мы только в семь увидимся, то придется полчаса ждать, ехать на бородинской почти со всеми остановками. Зная, что японцы — народ аккуратный, что профессор непременно будет ехать с запасом времени, я купил билеты и помчался к метро «Белорусская радиальная».

Изумленный профессор увидел меня, сходя с эскалатора.

— Мы сейчас, — спросил он, — пойдем встречаться к памятнику Горькому? Ведь это из-за него Чехов вышел из академии?

— Да, из-за него. Но он давно вышел, а электричка сейчас уходит. И потом, если мы уже встретились, зачем нам Горький? — отвечал я и, так как объяснять было некогда, тащил профессора на пятую платформу. Именно пятая значилась на табло.

Но когда мы прибежали на пятую, то по радио объявили, что электричка до Можайска прибывает на четвертую. Опять же не объясняя, я повлек профессора обратно в тоннель. Профессор, видимо, решил, что я плохо знаю Белорусский вокзал.

В электричке, отдышавшись, мы стали разговаривать на ту тему, что в России большое пространство.

— Сколько земли, — восклицал профессор, когда между станциями мелькали два-три перелеска.

По проходу шла торговка пирожками, и профессор, несмотря на мой ужас, купил у нее штучку и стал откусывать по мелкому кусочку. Меня же угостил чем-то сушеным, рыбным, в плоском пакетике.

— Но все-таки спрошу, — сказал он. Видно, он думал над этим. — Если объявили, что поезд уходит с одной платформы, то почему он пришел на другую?

— А это стрелочник виноват, — ответил я, — стрелки перевел с похмелья, вот и все.

— Как с похмелья? — изумился профессор. — Стрелочнику же совершенно нельзя пить, это же очень серьезная профессия, это же связано с жизнью людей.

— Честно скажу: пьют, — отвечал я. — Это очень большой наш недостаток: пьют стрелочники, они, они у нас во всем виноваты.

Профессор доел пирожок, я доел сушеные волокна, кстати, очень вкусные, и мы стали говорить о Чехове. Профессор находил сходство между Чеховым и писателем, к которому мы ехали.

— А как вы думаете, — спросил профессор, — Чехов был антисемитом?

— Я до таких тонкостей в Чехове не доходил, но думаю, что не был.

— Да, но рассказ «Тина»... — заговорил профессор.

Это и был тот неяпонский вопрос, о котором просил поговорить с ним профессор.

— В Японии нет евреев, — объяснил профессор, — поэтому мы решили, что именно японцы разберутся в еврейской проблеме. Я этим стал заниматься, но у меня вопрос: почему нигде в мире ни Чехова, ни Пушкина, ни Гоголя, ни Лескова, ни Гончарова — никого из русских мировых классиков не называют антисемитами, но я прочел их всех внимательно и видел у них многое по еврейскому вопросу. Даже у такого, как Тургенев.

— У него-то где? — спросил я, стыдясь того, что плохо знаю свою классику. А вот японец знает. О, эти японцы все знают.

— А у него в «Записках охотника» помещик Каратаев хвалит свою собаку, говорит, что даешь собаке кусок хлеба из левой руки и говоришь: жид ел, то собака не ест, а говоришь, что барышня кушала, и даешь из правой руки, то собака возьмет.

— Так, а в чем тогда вопрос?

— Так вот, классиков не называют антисемитами, а я прочел всего Шукшина, Белова, Распутина, у них нет антисемитских высказываний, а их называют антисемитами. Почему?

— Спросите тех, кто называет. Для меня это тоже загадка. Да это еще что, у нас давно ли эти писатели в фашистах ходили, у нас даже слово «патриоты» оплевывалось.

— Это нас возмущало, — сказал профессор. — Японию после войны поднял только патриотизм. Всякое государство можно сохранить и укрепить только патриотизмом.

— Вот спасибо. Вот еще бы это демократам внушить.

— А наши демократы, — сказал профессор, — очень большие патриоты. А у вас патриоты — русские, а демократы — евреи. Может, от этого противоречия.

— Противоречие в вашем суждении. Как же евреи не патриоты, а евреи Израиля? Если б они не были патриотами, разве б туда стремились?

— Тогда вопрос прямой, можно?

— Только так и можно, — отвечал я.

— Есть ли в России антисемитизм?

— Тут я вам плохой помощник, — искренне отвечал я. — Я первого еврея в двадцать лет в армии увидел. Илюха Файбрун — хороший парень. Мы вместе газету выпускали. Я сочинял, он переписывал. Правда, вот на учениях, например, я в противогазе бегу, а он на штабной машине. Но ведь опять же — сочинять-то текст боевого листка можно и на бегу, а ему планшетка нужна, бумага, перо. Почерк у него был хороший. Так что я сам виноват, мог бы и почерк выработать, в писаря бы пошел. Или в институте у нас был еврей, Семен. Тоже парень отличный. А я грузчиком работал на ткацкой фабрике. Он расспросил про заработки, тем более и жил он недалеко, попросил устроить на работу. В грузчики какая проблема, я устроил. Только уже к вечеру первого дня я тюки с пряжей таскаю, а Сенька их считает. Зарплата у него даже и повыше — учетчик. Но мне интереснее было грузить, чем с карандашом сидеть.

— А серьезнее? — прижимал меня профессор. — Есть антисемитизм?

— Видимо, после революции был, — отвечал я. — Иначе зачем бы появился закон об антисемитизме. Слово «жид» нельзя было произнести...

— Но ведь жид и еврей не совсем одно и то же, я изучал этимологию.

— Да мы слово «жид» не чем иным, как обозначением жадности, и не считали. В детстве, если кто жадный, ему говорили: а, жидишь!

— Да, да, — подхватил профессор. — И у Гоголя, когда Чичиков передал Плюшкину деньги, то тот «сразу ожидовел».

— Ну вот тем более, Плюшкин же не еврей, — обрадовался я поддержке Гоголя. — Или у нас была считалка: «Жид, жид, жид, по веревочке бежит, веревка оборвется, жид перевернется». Какой тут антисемитизм? Хотя потом, когда я был в Москве, рассказывали про анекдот тридцатых годов о том, как стоит мужчина на остановке, его спрашивают: ты что делаешь? Он хотел было ответить: трамвай поджидаю, да испугался и ответил не «поджидаю», а «подъевреиваю».

Профессор, посмотрев в книжечку, продолжал допрос:

— А не думаете ли вы, что антисемитизм имеет в основе антииудейство? У Пушкина в «Скупом рыцаре» рыцарь возмущен, что еврей-аптекарь предлагает рыцарю отравить скупого отца. Рыцарь его, еврея, прогоняет, говоря о деньгах, что они будут пахнуть «как сребреники пращура его». Он ведь имеет в виду Иуду и историю с тридцатью сребрениками? Так? Еще у Пушкина, когда пишет про гречанку: «Ко мне постучался презренный еврей». Есть же причина такого отношения.

— Мы почему-то и воробьев называли жидами. — Я, к сожалению, не был столь силен в еврейском вопросе, как японец. — Я больше сужу не по науке, а по жизни. Вот опять же анекдот: «Беги, Абрам, погром!» — «А я по паспорту русский». — «А бьют не по паспорту, а по морде». Но это, я думаю, еврейский анекдот.

— Почему?

— У нас, как началась эта свистопляска с ускорением и перестройкой, как пошел свальный грех демократии, так уж сколько про эти погромы кричали, даты называли — все вранье, в русских нет чувства мести. А евреи, что ж евреи, они как в псалмах Давидовых, как же им петь веселые песни в земле чужой. Они из глубины веков подпитываются чувством богоизбранности, превосходства, а мания величия обязательно вызывает манию преследования.

— Да, да, — поддакнул профессор. — Мы — буддисты — братья христианам, мы знаем, что богоизбранность одного народа кончилась на Голгофе, богоизбран тот, кто идет за Богом, а для него нет ни эллина, ни иудея.

Он погрузился в свою книжечку. Скоро доедем, думал я, глядя в мутное окно. Чем бы еще помочь профессору? Он сам все лучше меня знает. Но вот это надо сказать:

— Я вам рассказал анекдот про городской трамвай. Тут заметно, что человек боится, что за слово «жид», даже в корне слова «под-жид-аю», его могут замести, забрать, привлечь, в общем. А я в селе вырастал, там, например, такие частушки пели вовсю еще безо всякой гласности: «На бочонке я сижу, а в бочонке кожа. Сталин Троцкому сказал: “Ты жидовска рожа”».

— А почему в бочонке кожа? — спросил профессор.

— Для рифмы. Но тут Сталин и Троцкий по разную сторону баррикад, а вот частушка, опять же открыто пели, в ней они объединены: «Сидит Сталин на березе, Троцкий выше, на ели. До чего, христопродавцы, вы Россию довели». Или народная частушка: «Ты Иван, и я Иван, голубые очи. Мы с тобой идем в забой, а евреи в Сочи». Одним словом, плохой я вам помощник. Вы меня лучше по русскому вопросу спрашивайте. А то кто послушает со стороны, и решит, что мы с вами антисемиты. А мы просто занимаемся научными изысканиями.

— Но разве в электричке есть подслушивающие устройства? — забеспокоился профессор.

— Да если бы и были, она так гремит. Не растрясло вас? Подъезжаем.

Профессор захлопнул книжечку.

Выходя, я вспомнил, что и в «Капитанской дочке» есть одно место, там Зурин, обучая Гринева, говорит: «...придешь в местечко, чем прикажешь заняться? Ведь не все же бить жидов». Но я не стал напоминать профессору, уже ясно, что и эта цитата есть у него. Да и что это добавляет?

Профессор уже в тамбуре спросил:

— Значит, бывает так, что закон говорит одно, а люди другое?

— Но, господин профессор, вы же занимаетесь Россией, как же иначе?

Профессор сверился с записной книжечкой, вздохнул:

— Даже у Толстого в «Анне Карениной»: «Дело было до жида, дожидался у жида».

— Язык такой русский, — оправдал я Толстого. — А знаете, на Украине Льва Толстого предлагают называть Левко Пузатый. Они против русификации.

Профессор стал торопливо записывать сообщенный мною факт. Но мы уже приехали в Кубинку. Боже мой, вечность назад я служил тут в ракетных войсках. Но, оставив воспоминания, стал расспрашивать, на каком автобусе ехать до санатория. Отвечали: на двадцать

восьмом. Вот и указатель: к двадцать восьмому. Мы пришли с профессором на привокзальную площадь и сели в двадцать восьмой. На всякий случай, и как будто кто меня подтолкнул, я спросил:

— Это двадцать восьмой?

— Нет, это сорок четвертый. А двадцать восьмой теперь ходит с другой стороны.

— Как же так? Написано же двадцать восьмой. И на указателе, и на остановке, и на автобусе.

— Все же знают, — хладнокровно отвечали нам.

— Хорошо еще, не успели заплатить, — сказал я профессору, когда мы снова поднялись на мост через железную дорогу.

На площади с другой стороны мы увидели битком набитый двадцать восьмой. Еле влезли. Тут уж я, конечно, спросил:

— Это двадцать восьмой?

На меня посмотрели как на дурака:

— Вы же садились, видели, в какой садитесь.

— Но вот мы так же сели в двадцать восьмой на той стороне, а оказался сорок четвертый.

— Так зачем вы на ту сторону пошли?

— На указателе написано.

— Мало ли что на указателе.

У меня хватило ума спросить:

— Мы до санатория доедем?

— Нет, — отвечали нам, — до санатория в другую сторону.

— Как же так, — спросил я, — говорили же, что тут конечная.

— Ну да, в ту сторону конечная, а от санатория в эту не конечная. Да вон он стоит.

Мы снова вылезли и пошли к двадцать восьмому автобусу, но закрытому, без водителя и кондуктора, хотя рядом стояли люди.

Они сказали, что автобус сейчас поедет.

Профессор спросил:

— А что это значит, когда нам ответили: «Мало ли что на указателе»?

— Значит то, что не надо верить указателям.

— Почему?

Я пожал плечами. Профессор стал изучать расписание движения и соображать, глядя на свои японские часы, когда же мы отправимся.

— Бесполезно смотреть, — сказал ему пожилой мужчина. — Когда захотят, тогда и поедут.

— Но для чего расписание?

— Для модели.

— Для какой модели?

Мужчина тоже, как и я недавно, пожал плечами.

— Для какой модели? — спросил меня профессор, когда мы отошли. — Для модели движения?

— Скорее, для всяких комиссий. Придут, посмотрят — расписание есть, все в порядке.

— Комиссия движения? — стал уточнять профессор.

— Всякие бывают, — отвечал я.

Из того, переполненного, двадцать восьмого автобуса вышла кондукторша с сумкой. Автобус немедленно поехал. Видно, из-за нее и стоял. Кондукторша зашла в диспетчерскую, вышла из нее с другой женщиной, и они, открыв автобус, который мы ждали, вошли в него. Сели там завтракать. Хотя двери остались открытыми, нас туда не позвали, мы продолжали ждать. Подошли и водители, сразу трое. Они обсуждали вчерашние события: «А чего Колька сказал?» — «А Колька сказал: я с вами пить не буду». Это его точные слова. Так и сказал».

— А почему Колька не будет с ними пить? — спросил профессор.

— Разногласия какие-то.

— Но он же из их коллектива? Да? Значит, должен пить с ними.

Наша очередь росла и начала роптать. Но для водителей мы были как пустое место. Кондукторши окончили завтрак, вылезли, мы самочинно заняли сиденья. И стали ожидать отправления уже в сидячем виде. Кондукторша пошла было к нам, но тут ее кто-то окликнул, и она стала говорить о рассаде. Пожилой мужчина осмелился спросить, когда же мы тронемся.

— А будете орать, вообще не поеду, — отвечал водитель, который уже занял свое место.

— Разве мы орем? — спросил я.

— А все равно, — ответил водитель. — Меня из гаража без техосмотра выпустили, я могу вообще не ехать. Или остановлюсь среди дороги и буду стоять. Имею право.

— Неужели он так поступит? — спросил меня профессор.

— Довезет, — ответил я.

Пришла кондукторша, стала обилечивать. Автобус завелся и тронулся. Кондукторша собирала плату, отрывая от катушки билетов на полцены, а то и вовсе не давала билетов. Тот, кто вовсе отказывался от билетов, тот платил полцены. Объяснить профессору такую сложную механику было невозможно. Он, бедный, уже и не спрашивал.

В санатории, у писателя, профессор пытался разобраться в увиденном. Профессор искренне решил, что я тоже ничего не понимаю. Если написано на автобусе двадцать восьмой, то почему он сорок четвертый? Если объявлено отправление с пятой платформы, то почему отправляют не с пятой? И так далее. И было ли такое во времена Чехова? И если было, то почему нигде у Чехова не отражено?

— Если и было, так он этого просто не замечал. Вы ко мне ехали? Давайте чай пить.

Во время чая мы решили, что классики закрыли тему антисемитизма, но что это не нравится современным критикам-стрелочникам, вот они и заставляют русских писателей продолжать эту тему.

А что касается автобусов и электричек, то ничего не было подстроено, что все нормально и что если изучаешь Россию, то надо быть ко всему готовым, даже к постоянной смене платформ, номеров, расписаний, критики, законов.

Одно только у нас неизменно — Россия.

Профессор поблагодарил, но все-таки вычитал из своей книжечки самый важный вопрос:

— Русские уйдут из мировой истории?

— Только вместе с ней, — отвечали мы.

Не верь, не верь поэту, дева

Мне решительно неинтересны прозаики. Только поэты могут расцветить серую прозу жизни. Вот давайте проведем опыт: напоим для сравнения поэта и прозаика и выпустим их на трибуну. Прозаик будет возбужденно или пришибленно нести какую-то ахинею, а поэт блистательно рванет краткую речь, талантливо лягнет соперников, искрометно прочтет стихи, сорвет аплодисменты, улыбки и вздохи поклонниц.

Перед нами Александр. Известный поэт, но фамилии не скажу, ибо женат, ибо жена умеет читать. Прочтет, да еще бросит его на старости лет. Кстати, он ее, и только ее, любит. Но не может не влюбляться. И это естественно. Вспомним любой пример из мировой литературы. Да вот и наш современник — Расул Гамзатов: «Дорогая, — пишет он жене (это подстрочник), — ты лучше всех. Но как же я узнаю, что ты лучше всех?»

Итак, Александр в командировке. А в командировке, как сказал кто-то из мужчин, мы все холостые. Позади ночь в поезде, разговоры, махания руками. Утром цветы на перроне, хлеб-соль и красавицы в кокошниках... Вот и прием в администрации прошел, вот и, по программе, посещение краеведческого музея. Когда к бригаде писателей подходит красавица-экскурсовод, Александр влюбляется.

— Можно называть просто: Ляля, — говорит она, смущается и сообщает Александру, что поклонница его таланта.

В гостинице он возбужденно рассказывает соседу:

— Старик, ты б видел! Нервная, не понятая провинцией. Я думал, врет, что меня знает, нет, гениально вплела в текст экскурсии вот это, мое (читает), каково? Не могла же специально выучить.

— Могла, — хладнокровно говорит товарищ. — Знали же, что именно ты приедешь. Ой, старик, сколько же у тебя было этих Ляль.

— Было. Стреляй — было. Но Ляля! Ты что! Все под откос! Я уж думал, никогда не смогу завибрировать, а тут!

— На сегодня договорился?

— Естественно. Но чего это стоило! Краснеет. Где еще в мире остались краснеющие женщины? Только в провинции. Не могу. Договорился. Ух, жарко, не выпил, а в жар бросает. В глазах стоит — подошла, ведет экскурсию. Меня прямо трясет. Они ж чувствуют! Старик, мы — мужики, мы же бревна, мы же «здравствуй, дерево», а тут! М-м!

Как у него проходит встреча с Лялей, зная Александра, легко можно представить.

Он вооружен до зубов, то есть у него набор питья и еды. Конечно, шоколадный набор, конечно, кофе. И конечно, непрерывные атаки на эту Лялю. Поэт любит повторять из Фолкнера, «что человек все может, только нельзя останавливаться».

— Коньяк? Чуть-чуть. Тши кропли, как гуторят поляки.

— Нет, нет, что вы!

— Тогда вина! Белый аист! Летит! Над Беловежской Пущей летит. Но из Молдавии. Тончайший букет. Брызги империи.

— Нет, нет, я не пью вина. — Ляля держит оборону.

— Тогда грузинского! Киндзмараули! Любимое, так сказать, товарища отца народов. А кто, дети, товарищ отца народов? Товарищ Сталин? Тогда кто отец народов?

— Не надо, даже не открывайте. Вы же, Александр (отчество), сказали: просто поговорим. Вот кофе. Я могу приготовить.

— Во-первых, если я Александр (отчество), то и вы Ляля Батьковна. Во-вторых, про кофе рано и очень телевизионно. Такая светлая головка, как у вас, не может быть замутнена голубоватым пойлом телекоробки. И притом кофе — это разврат, это не по-русски. С кофе и с бритья бород началась гибель России. Вы хотите в ней участвовать?

— Уже поздно, — говорит Ляля, — я уже не успела, все погибло без меня.

— Отлично! — радуется поэт. — Отличный уровень разговора. Выходим на виражи. Ложимся на курс. Ло-

жимся на курс, Лялечка? И вообще, какая дикость, что мы на «вы». Я такой старый?

— Нет, что вы!

— Не утешайте, старый. Если бы вы не считали старым, давно бы было: Сашенька, Саня, Санек! Тебе пора меня гонять, как сапожник гонял Ваньку Жукова. Ляля! Если я не старый, то будем на «ты», так?

— Я не могу так сразу.

— И я не могу сразу. Есть же ритуал, надо же брудершафт.

— Можно без него?

— А протокол? А этикет? А традиция? О, — как бы вспоминает поэт, — у меня ж «Советское шампанское», я же человек из той еще жизни, я же, назло всей демократии, пью только «Советское шампанское» — лучшее в мире. Уже охлаждено, уже несу. Выпьем, это сближает.

В ванной, где холодится бутылка, поэт осматривает себя в зеркало, корит за медленные темпы ухаживания и возвращается. Опытным взглядом видит, что Ляля поправила прическу.

— Открывать как: по-гусарски или как подпольщик?

— Я громко боюсь.

Поэт все-таки хлопает. Ляля вздрагивает.

— Испуг освежает, — комментирует поэт. — Ну вот, вошел — и пробка в потолок. Выпьем. Это сближает.

— Не наливайте, — сердито говорит Ляля, — я обижусь. Если вам от меня только одно надо, я сейчас же уйду.

— Мне от вас надо все, — заявляет поэт. — И это, и то, и третье, и десятое. Вы что, думаете, что сейчас я брошусь рвать на вас эту прекрасную одежду (Ляля в сиреневом)? Я увидел вас, тебя! Сердце отпало. На разрыв аорты, как сказал Пастернак, хоть я его и не люблю.

— Почему?

— Дачность, литература из литературы, раздутый политикой. Ты возьми Заболоцкого — космос! Тут начитанность. Ладно, не пей ничего. Но минеральную воду ты пьешь?

— Минеральную пью.

— Тогда выпьем минеральной. Это тоже сближает.

Назавтра поэт неотступно душит товарища рассказами о своей любви к Ляле.

— Как она шептала: «Я берегла себя для тебя». Старик, я безумец, я полюбил ее навсегда. Здесь! Такое тонкое понимание! Над ней еще немножко работы, и это русский Сократ в юбке по вопросам поэзии. Я из нее

вышибал дурь эмигрантскую, говорю: «Лялечка, Георгий Иванов — хорошо, немного Ходасевича — и хватит! Беглецов, — ей говорю, — не воспринимаю». — «Ах, как вы можете!» Это еще с вечера на «вы». «Дорогая, — говорю, — разлука обостряет чувства. Вот я уеду от тебя, и чувства запылают с новой силой. О, это любовь, лишенная примеси выгод, тут удар солнечный, тут как из-за угла с ножом выскочили и зарезали». Она: «Ах, вы это из Олеши, ах!» Я тут режу: «Какой ужас эта начитанность. Тебе б детей, было б не до Алеши. Начитанность ведет к глупости. Всюду, на любую ситуацию, клише и штампы. Как у актеров. Они давно расстригли себя на лоскутки ролей». Но я, старик, шел дальше и дальше, нельзя останавливаться. «Рядом с тобой я исчезаю как поэт, зачем? Я хочу нравиться тебе только как мужчина. Я же не могу вслед за Евтушонкой кричать, кричать, что поэт в России больше, чем поэт. Сейчас он сочиняет, что поэт в Америке ничтожней, чем поэт». Она: «Ты это от зависти». Я: «К кому?» Она: «Ты с ним знаком?» Я: «Это он со мной знаком». И тут же: «Ляля! Я шел к тебе всю жизнь, а мы о профессии. Я тебе ни одной строки не прочту»...

— Все равно читал, — хладнокровно говорит товарищ.

— Просила! Потом, когда я, как политрук, позвал себя в атаку и бросился на нее, она защищается: «Ты приехал случайно, ты охмуряешь провинциальную дурочку». Я кричал: ничего случайного! Читай Канта, а лучше наших, Ильина! И только Ильина, даже Соловевичем не разбавляй. Все случайное обусловлено причинностью. Детерминизация казуальности! Вся жизнь моя была залоговой стоимостью, так-то вот и так-то, без такта, эх, старик! Она опять мне: «Пастернак, Пастернак!» Я ей: «Мандельштам на три этажа выше: рыбий жир ленинградских речных фонарей — это пережито». Ляля, Ляля! — Поэт садится в кресло, потягивается, зевает и сообщает: — Так-то она Альбина.

Пора отправляться в поездку по области. «Как я переживу», — говорит поэт, все названивая про Лялю-Альбину.

А в поездке, хоть стой, хоть падай, у поэта еще приключение. Теперь уже Лиля. Она, хохотушка под сорок, сопровождает от управления культуры бригаду писателей, помогает собирать зрителей, продавать книги. Вообще незаменима. С ней проблем у поэта нет. Ему лафа — не надо ничего покупать, заботиться о ночлеге, все готовое, надо только понравиться. Ну, это Александр умеет. Он каждый раз влюбляется искренне, вот чем он берет.

После первого вечера, выйдя в коридор, он обнаружил, что, оказывается, Лиля не слушала его выступление. Утешая его, оправдываясь, она ответила, что ему больше всех хлопали. Разве это не растопит сердце пишущего мужчины? И Лиля ему понравилась. После вечера, как водится у добрых людей, — банкет. Лиля не чинилась. Когда поэт хлопнул пробкой, сел рядышком, она сразу приняла его ухаживания. Все хохотала, все повторяла:

— Шампанское после водки? Это ра-азврат. Водку заедать шоколадом? Это развра-ат.

Одно огорчало — не дали поэту отдельный номер. Но соседом его был поэт из местных, который так много пил, так мертвецки спал, что его не могли разбудить даже собственные дикие крики во сне, так что ночи Александра и Лили были спокойны.

И о Лиле взахлеб рассказывал товарищу помолодевший поэт. Он сопоставлял Лялю и Лилю. Любил обеих.

— Лилька проще, та тоньше. Но с той пока навозишься, надо говорить, нести какую-то хреноту о поэзии, здесь все ясно. Земное и вместе с тем не только физическое. Понимаешь? Осязаемое, естественное, проще, но возбудимее. Там полутона, темная вуаль, руки под ней сжимает, начиталась, дура, всего. Ах, не выдерживаю, хочу написать сопоставление, например, так...

— Не ври. Не например, а уже написал. Читай.

— Нет, старик, пока слабо, абрис, набросок, мычание, килька воображения... М-м... Рукой онемевшей не двину! На ней ты лежала всю ночь...

— Заросла веревка у колодца вьюнком, воды у соседа возьму.

— Время решит, время, кто мне дороже. Время. Люблю, старик, обеих.

Вскоре он прочно забыл и ту и другую. И когда через год товарищ спросил, звонит ли, пишет ли он Ляле и Лиле, поэт был в недоумении:

— Что это за Ляля и Лиля, что это: Штепсель и Тарапунька?

— Я не обязан лучше тебя помнить твои подвиги. Лиля, Ляля. Поездка в такую-то область.

— А! — хлопнул себя по лбу поэт. — Вот эти два стихотворения? Да, да, да! Хорошо бы, кстати, туда наведаться. Не забыли же! Но как? Сам не поедешь, дорого. Бюро пропаганды зачахло, Союз писателей нищий, командировки не дает. Какой журнал попросить, газету? Так опять, очерк им давай. А я уж не мальчик жизнь узнавать. Да и кто теперь читает эти журналы и эти газеты? Ах, Ляля, Ляля, Лиля-Лиля. Смотри, старик, как смешно сошлось. Может, еще и объединю их. Спасибо, старик, я все вспомнил, все прожил заново.

Так что можно сказать только, что здесь рассказана история создания двух стихотворений.

Два снайпера

В поезде Москва — Одесса я ехал в Приднестровье, в Тирасполь. Со мною в купе, тоже до Тирасполя, ехал снайпер-доброволец, а мужчина с молодой девушкой ехали в Одессу.

Снайпер был немного выпивши, возбужден, выпоил мужчине, который назвался новым русским, девушке и себе бутылку с чем-то и ушел добавлять. Я залез на верхнюю полку и то дремал, то пытался чего-то читать. Мужчина внизу непрерывно и сердито шептался с девушкой. О чем, я и не прислушивался.

Девушка вдруг вскочила, оттолкнула мужчину, громко сказала: «На первой же остановке!» — и вышла из купе. Я зашевелился, обнаруживая свое желание спуститься.

Совершенно неожиданно мужчина, новый русский, стал говорить, что вот эту девушку он нанял, он даже сказал, что купил, ехать с ним в заграничный круиз.

— Греция, понимаете, Кипр, Израиль. А она — видели? — заявляет, что хочет обратно, мамы боится. Мамы! Мы так не договаривались.

— А как договаривались?

— Чтоб без проблем. Путевка, потом еще особая плата и — до свиданья. Мама! Лучше б я ее маму взял. Мне не трудно ее обратно отправить, женщину я и в Одессе куплю, но опасно. Почему? У меня дружок купил, а домой, жене, заразу привез. Это ж Одесса, там любую со СПИДом подхватишь, а справку принесет, что здоровая.

Девушка вернулась в купе, достала огромный специальный ящичек для косметики и принялась демонстративно наводить красоту на свое и без того хорошенькое личико. Мужчина опять стал ее уговаривать. Чтоб им не шептаться, я вышел в коридор. Сосед-снайпер вовсю дымил еще с одним мужчиной, который оказался... тоже снайпером. Это мне мой сосед объяснил. Они курили и говорили, что это не дело, когда девчонки идут в снайперы. Вон в Бендерах были «стрелочницы» из Прибалтики, это не их дело, это дело мужское. Видно было, мужчинам не терпелось пострелять.

Из нашего купе вышли мужчина с девушкой. Проходя мимо, новый русский мне, как посвященному в его дела, доложил торопливо и вполголоса: «В ресторан уговорил!»

Я вернулся в купе, завалился на полку и не просыпался до утра, до самой украинской таможни. В вагон вошли такие гарные хлопцы, такие дуже здоровые парубки, что если бы они не паспорта проверяли, а землю пахали, Украина завалила бы всех пшеницей. В Канаду бы продавала. Хлопцы были в форме, похожей на запорожскую, были все с усами, говорили подчеркнуто на украинском. Нам было предложено «гэть из купе», чтоб они обыскали и купе, и вещи. Мужчина успел радостно сообщить, что девушка обещала подумать, что он увеличил ей плату. «Мне ж это дешевле, но даже и не деньги, но чтоб с другой не вязаться, к этой все ж таки привык».

Таможенники «прикопались» только ко мне. Зачем я еду?

— Мне же интересно видеть самостийную, незалежню, незаможню Украину.

— Шутковать нэ трэба, — сказал мне усатый таможенник. — Вы письменник?

— Да, радяньский письменник. Царапаю на ридной русской мове.

— Нэ шутковать.

— Какие шутки. Можете записать, что я украинский письменник, пишущий на русском диалекте.

— На яком диалекте?

— На русском. Это следствие, рецидив, так сказать, имперского мышления.

Слово «имперское» могло погубить, но, на мое счастье, таможенника отозвал офицер.

Потом была молдавская таможня, потом приднестровская. Я уж решил лучше молчать. Снайпер тяжело приходил в себя. Он встряхивал головой, поводил мутными, плохо прицеливающимися глазами, наконец попросил меня выйти и посмотреть, есть ли в коридоре тот снайпер. Я посмотрел — никого. Тогда он соскочил с полки, сбегал умылся, сел напротив и сказал:

— Все очень серьезно. — Он закрыл купе изнутри. Соседи наши уже ушли в ресторан завтракать.

— Что серьезно?

— Того снайпера видел вчера?

— Ну.

— Он не к нам едет. Он к румынам едет, понял? К молдаванам. Он с той стороны будет стрелять. Он, гад, за деньги нанялся, я-то из патриотизма, ну, гад! А мы вчера разговорились, а он-то думал, что я тоже нанятый. Ты, говорит, за сколько и на сколько контракт подписал. Тут-то и открылось. Ну, брат, дела. Он дальше поедет, до Кишинева, я до Тирасполя. — Снайпер покрутил головой. — Чего делать?

— А чего ты сделаешь? Вы как договорились — друг в друга не стрелять? Или ты его свалишь, вот и деньги некому получать.

— Семье заплатят, он сказал, семья у него в Москве. Да он, гад, и отсюда бы стал стрелять, но тут не платят. Он говорит: ему все равно, лишь бы бабки. Этим девкам из Прибалтики много платили. Но они, сучки, даже

по детям стреляли. Это-то он не одобряет. — Снайпер опять покрутил головой. — Достань чего-нибудь, не дай помереть.

Тут с завтрака вернулись соседи. И наудачу новый русский прихватил какого-то заморского пойла и щедро стал угощать. Девица снова углубилась в работу над своей мордашкой. Она решила в Тирасполе выйти, подышать, погулять по перрону. Мужчина ткнул меня сзади в спину и подмигнул, мол, все в порядке, больше, мол, не капризит.

И еще раз пришли какие-то пограничники, а может быть, еще какие таможенники, я уж в них запутался. Нас снова, но теперь на русском языке, попросили выйти. Вышли и из других купе. Мы теснились в проходе. Вышел и тот, едущий до Кишинева снайпер. Тоже явно с головной болью. Снайперы обменялись взглядами. Наш, уже опохмелившийся, глядел побойчей.

Поезд стал тормозить. Я думал, нам еще долго ехать, а оказывается, мы уже приехали.

Дунайское похмелье

Север Болгарии, Силистра, набережная Дуная, осень. Я сижу у стоящего на постаменте танка Т-34 и погибаю с похмелья. Накануне был торжественный вечер, перешедший в еще более торжественную ночь. Здравиц пять или больше я сказал о русско-болгарской дружбе, мне отвечали тем же. Мои сопровождающие переводчики Ваня и Петя курили и хлопали кофе, делать им было нечего, в Болгарии все, по крайней мере тогда (это было лет десять назад), понимали по-русски. Конечно, пели: «Дунай, Дунай, а ну узнай, где чей подарок», конечно, клялись в любви до гроба. Под утро я упал в своем номере, но вскоре вскочил. Меня подняла мысль: я еще не умылся из Дуная.

До чего же я любил Болгарию! Все в ней незабываемо, все такое прекрасное, женственное: и юг, и побережье, и горы. В ушах стояло птичье разноголосие Среберны, в памяти зрения навсегда запечатлелись скальные монастыри, Куприщиц, Сливен, Пловдив, Русе, Жеравна. Теперь вот Силистра, Дунай. Но до Дуная еще надо было пройти метров сто. Я решил посидеть у танка, все-таки свой, уральский, может, он даст сил. Дал. Я немножко заправился из посудины под названием «Каберне», вздохнул и огляделся. Осень. Ну, осень, она везде осень. Листья падают под ноги деревьям, шуршат. Хорошо, тихо.

Ощущение счастья охватило меня. Никого не обидел, никому не должен, ни перед кем не виноват. Все проблемы потом, в России, а пока счастье: дружба, братство, любовь и взаимопонимание. Тем более до обеда свобода, беспривязное содержание. Искать не будут, я оставил записку Ване и Пете. Да, ведь Ваня и Петя — это не мужчины Иван и Петр, это женщины, это имена такие женские в Болгарии — Ваня и Петя. Переводчицы мне достались непьющие, но зато непрерывно курящие. Едем с ними — курят без передышки, я погибаю. Вот остановили машину, вышли. «Ваня, кури, пока стоим, Петя». — «На воздухе неинтересно, — отвечают Ваня и Петя, — надо же иногда и подышать». Садимся в машину, они начинают смолить. Да еще обе пьют страшное количество чашек кофе. А так как я кофе совсем не пью, то это для Вани и Пети очень подходит. Они на меня заказывают сразу четыре чашки, а потом эти чашки у меня утаскивают. А заказать чай, по которому тоскую, вроде уже неудобно, поневоле хлещу прекрасные сухие болгарские вина.

Увы, вчера были не только они. Но сегодня, решаю я, только сухое. Только. Хотя бы до обеда. На обеде, а тем более вечером, все равно пить. Все равно говорить здравицы о дружбе. Не тосты, именно здравицы. Тосты — слово, нам навязанное. Тем более болгары, поднимая бокалы, говорят: «Наздрав!»

Ну, наздрав, говорил я себе, все более оживляясь от солнечной виноградной лозы. Наздрав! Наздрав-то наздрав, а одному становилось тоскливо. Да, умыться же из Дуная. Я быстро пришагал к берегу, спустился к воде. Недалеко рыбак возился у лодки.

— Доброе утро, брат! — крикнул я.

— Доброе утро! — откликнулся он.

Вот с кем я выпью. А пока умоюсь. Есть же славянская примета: умыться за год из двенадцати рек — и помолодеешь. А Дунай надо считать за три реки, не меньше: по всему же славянскому миру течет.

— Эй, эй! — услышал я крик. — Не можно, не можно! Химия, химия!

— Что делать, везде экология, — сказал я, подходя к рыбаку.

Мы поздоровались. Рука у него была могучая. Но я вроде тоже крепко тиснул.

— Нож у тебя есть? А то я первую открывал, палец чуть не сломал.

У него были и нож, и штопор, и стаканы. Правда, не граненые, пластмасса. Звуку от чоканья не было, но выпили от души. И допили от души.

— Слушай, — сказал я, — у меня еще одна есть. Но знаешь чего, давай ее выпьем в Румынии. Я везде был, а в Румынии не был. Или пристрелят? А?

— То можно, — сказал рыбак.

Мы столкали лодку на воду, сели. Мотор взревел, мы понеслись к румынскому берегу.

— Вот тут, — кричал я, — наш Святослав, киевский князь — слышал? — сказал: скорее камни со дна Дуная всплывут, скорее хмель утонет, нежели прервется русско-болгарская дружба! Вот тут, именно тут.

— То так! — кричал и кивал головой рыбак.

Обдуваемый ветром, обдаваемый брызгами, я чувствовал себя превосходно. И продолжал просвещать рыбака:

— Отсюда — именно отсюда, понял? — от Суворова ушла депеша, донесение Екатерине, императрице, — слышал? Депеша: «Слава Богу, слава нам, Туртукай взят, и я там». Турок гнал отсюда. А Святослав печенегов изгонял. Его предали, Святослава.

— Предал кто?

Кто! Свои, кто! Славяне. А в эту войну наши гнали отсюда фашистов, вот! А теперь мы с тобой тут собрались.

Лодка ощутимо ткнулась в отмель, я даже со скамьи слетел. Вытащили лодку на берег. Не успели изъять пробку, как подошли трое румын. Но не пограничники, тоже, может быть, рыбаки. Они по-русски не говорили, рыбак им объяснил, что я из Москвы. Восторг был превосходительный. Но что такое бутылка сухого на пятерых, это несерьезно.

— Гагарин, — кричали румыны, — спутник, дружба! — И все примеряли на меня свои цыганские меховые шапки.

Дружба, оказывается, была не румыно-советская, а нефтепровод «Дружба», спасающий страны Варшавского договора.

Дружба дружбой, а одними словами ее не укрепишь. Мужики смотрели на меня как на старшего брата в социалистическом содружестве, как на представителя сверхдержавы, защищавшей их от нападок империализма, да и просто как на человека, экономически способного оплатить продолжение радости.

— Выдержит твоя лодка пятерых? — спросил я рыбака. — У меня только болгарские левы.

— Хо! — отвечал рыбак. — Левы они любят. Лишнего не давай.

Самый молодой румын умчался и примчался мгновенно. Принес какое-то «Романешти». Оно было хуже болгарского, но крепче. Очень интернационально мы выпили. И еще этот румын сбегал. И еще.

— Парни, — сказал я, — меня эта песня про Дунай заколебала. Давайте споем, а то она из меня не выветрится. Диктую: «Вышла мадьярка на берег Дуная, бросила в воду венок. Утренней Венгрии дар принимая, дальше помчался цветок. Этот цветок увидали словаки...» Я, правда, не понимаю, как мадьярка бросила венок, а дальше поплыл цветок, но неважно. Давайте разом. Три-четыре!

— Мадьяры — тьфу! — сказал один румын.

— Тьфу мадьяры, тьфу, — поддержали его два других.

— И словаки — тьфу! — сказал румын.

— Хватит тьфу, — сказал я как старший брат. — Давай еще беги.

Вскоре мы дружно ругали и Николае Чаушеску, и Тодора Живкова, и особенно крепко Брежнева. Оказалось, что все мы монархисты. Это сблизило окончательно. Правда, румын время от времени плевался и сообщал, что и поляки — тьфу, и чехи — тем более тьфу, а уж немцы — это очень большое тьфу, такая мать. Румын ругался по-русски.

— И сербы, и албанцы...

— Сербы не, — возразил мой рыбак. — Албанцы — то да, сербы — не.

Время летело. Начали обниматься, прощаться, меняться часами и адресами. В знак признательности румыны забежали в воду, провожая нашу лодку. С меня содрали оброк за то, что уезжаю.

Лодка наша петляла по межгосударственному водному пространству, будто мы сдавали экзамен на фигурное вождение. Румыны нам махали своими шапками.

На берегу... на берегу меня ждали Ваня и Петя. Конечно, меня легко было вычислить — русских тянет к воде. Я закричал им по-болгарски:

— На дружбата на вечната на времената! Ура, товарищи! Каждой по пять чашек кофе, и немедленно. Я был в Румынии, чего и вам желаю. Там я вам нашел по кандидату в мужья. Мне же вас надо отучить от сигарет и кофе и выдать замуж к концу визита. Милко, жаль, ты женат, пошли с нами. Или грузим Ваню и Петю — и в Румынию.

— Румыны — тьфу, — сказали Ваня и Петя.

— Тьфу румыны, — подтвердил мой рыбак.

— Да что вы, японский бог, — сказал я. — Варшавский же договор. Так на кого же тогда не тьфу? Чур, на Россию не сметь. СССР — одно, Россия, Россия... тоже одно. Вот! — воздел я руки к небу в подтверждение своих слов — по небу проносился сверхзвуковой самолет-перехватчик МиГ.

— О, только без самолетов, — сказала Ваня или Петя, я их путал.

— Хорошо. Допустим. А допустить турок, вас истребляющих? А пляски печенегов и питье из черепа славян, а? Было же. Так само и буде, так?

— Вы, русские, сильно всех учите, вот в чем наша претензия, — сказали переводчицы.

— То так, — поддакнул им мой рыбак.

— Теленка, — отвечал я, — тоже тащат насильно к вымени, а не подтащишь — умрет. Да, диктуем, тащим,

значит, спасаем. Значит, перестрадали больше всех, испытали больше. Но и у вас учимся. Я ваши скальные монастыри навсегда запомню. Только почему они у вас уже не монастыри, а музеи?

— Вопрос из области диктата.

— Какой диктат — пожелание воскрешения церковной жизни. У меня диктат один — чтоб вы не курили, вы же черные уже внутри.

Петя и Ваня молча и оскорбленно пили кофе и курили.

— Хорошо, — нарушил я молчание, — все плохи, одни болгары да русские хороши. Но ведь это тоже гадательно. Мы для вас диктаторы. А мы, между прочим, вас любим, что доказывали. Вот тут Святослав, древнерусский князь...

— Ой, не повторяй, — сказали Ваня и Петя, — ты вчера это произносил. И про Суворова произносил. И про танк...

Она дернула плечом в сторону Т-34.

— И мне произносил, — настучал на меня пьяный рыбак.

— Тогда немного филологии, — повернул я тему. — Вы — русистки, слушайте. И следите за ходом рассуждения. Вот я, вы же помните, во всех монастырях, церквях, куда мы заезжали и заходили, я же там читал все надписи совершенно свободно, особенно домонгольские. Да даже и ближе. Так же и в Чехословакии, и у чехов, и у словаков. Но современный болгарский для меня непонятен. То есть? То есть я к тому, что мы раньше были едины и по языку, и по судьбе. А судьба — это суд Божий. Потом, может быть, со времен Святослава, может, позже или раньше, мы стали отдаляться. То есть своеобразное славянское вавилонское столпотворение. Мы стали расходиться, перестали понимать друг друга. Так?

— То так, — подтвердил пьяный рыбак.

— И что же должно произойти, чтобы мы стали вновь сближаться, что? — вопросил я. — Какое потрясение, какой, так сказать, катаклизм? Неужели дойдет до такого сраму, что кого-то будут из славян убивать, а остальные будут на это взирать? А?

Ваня и Петя докурили, утопили окурки в чашках из-под допитого кофе и объявили, что мне пора на званый обед.

Так что было пора идти пить за дружбу. Между славянами.

Тихий воз на горе будет

Пилить дрова — это наказание. Но колоть дрова — это радость. Колоть дрова — награда судьбы, продление жизни и полезное ликование плоти. Да, устаешь, хнычет наутро спина, но какое же древнее, мужское дело — колка дров. Сколько удали в этом взметывании топора над головою, сколько силы в ударе. А расчет, а глазомер. Точность удара. Опытному работнику много чего говорит еле заметная трещинка на поверхности тюльки. Ставишь ее как на плаху, осматриваешь со всех сторон. Где сучок, где извилина, все надо учесть, чтобы, ахнув, развалить ее с одного, много с двух ударов надвое, а затем покрошить на поленья.

Вот привезли мне дров, свалили. И среди всех их — сосновых, еловых, березовых, уже напиленных на чурбаки, — выкатили и скинули такой чурбанище. Такой пнище, что земля вздрогнула, когда это чудовище поселилось у меня на дворе.

С утра, по морозцу, звонко разлетаются березовые поленья; кряхтя, раздираются еловые; сосновые всяко сопротивляются, но все равно рассаживаются и поддаются. И вот я колол дрова, колол, а сам понимал, что все это у меня репетиции, все это у меня учения перед боем, перед сражением с этим чудовищем, с этим смоляным, перевитым окаменевшими сухожилиями неохватным комлем. Доставало это дерево, наверное, до облаков, облетали его стороной самолеты, отдыхали на нем стаи перелетных птиц. Как его свалили, какой артелью, не знаю. Но мне предстояло порубить его на дрова и превратить скрытую в нем энергию в тепло для жизни.

И вот наступил день, когда я вышел к этому единственному оставшемуся пню в одной рубахе, вооруженный до зубов колуном, клиньями, топорами, и сказал:

— Ты понимаешь, что нам двоим не жить. Или ты — или я. Или ты умрешь — или я умру.

Потом я подумал, что надо с ним по-хорошему, и сказал:

— У меня на дрова больше денег нет.

Пень молчал. Так как за эти дни я всегда на него поглядывал и мысленно примерялся, то стал колуном легонько потюкивать от трещины к трещине. Но это пню было легче щекотки. Я будто по наковальне стучал. Ударил с размаху. Колун отскочил. Хорошо, не в лоб.

У меня были клинья — и дубовые, и два стальных. Я принес из сарая кувалду и вогнал ею клинья по намеченной линии. Но я как будто гвозди вбил, а не клинья. Стальные вошли целиком, дубовые расщелялись и погибли.

Так прошло полдня. Обедая, я все время помнил о пне, о его булыжниковом спокойствии. Я полежал. В глазах стоял пень. Надо идти. Пень показался

мне еще огромнее. Уже и компромиссы стали мне воображаться: ведь какой хороший — можно устроить из него журнальный столик. Или на нем дрова колоть. Такой монолит, он меня переживет. Но нет, отогнал я капитулянтские настроения, этот монолит должен сдаться, иначе я перестану себя уважать.

— А тебя не перестану, — сказал я пню. — Ты должен погибнуть, как боец. Но погибнуть. Иначе как мне жить? Ты чувствуешь, что ты делаешь меня первобытным охотником, я с тобой говорю как с медведем, которого надо убить для продления жизни племени.

Пень молчал. У меня были топоры, которые я вогнал по новой намеченной линии. Пень и не крякнул. Я два раза ходил менять мокрые рубахи, пил чай и угрюмо чего-то жевал, восстанавливал силы. Солнце пошло на закат.

Спал я плохо. Утром все начало повторяться. И был момент, когда бы я мог отступить, но вспомнил уроки детства. Я всегда был торопыгой, и мама всегда меня осаживала, говоря пословицу: «Тихий воз на горе будет», — то есть надо все делать помаленьку-полегоньку. Вот я нацелился на выступ сбоку пня и отколол его. Потом другой, третий. Напряжение стиснутости пня ослабевало. Обошел один круг, другой. Уже гора скорченных, перекрученных смоляных поленьев лежала вокруг, а пень все еще был громаден. Но, уже вогнав рядом с прежними еще клин, помассивнее, я достал первые клинья и с их помощью пробил новую линию по нетронутому месту. Стал бить кувалдой, с наворотом, как мы выражались. И пень треснул. Вначале тихо, потом с утробными звуками раздирания телесной плоти. Я загонял в щель все новые клинья и топоры, все бил и бил, не заметил, когда и как порвал рубаху, но наконец пень раздвоился. И потом еще почти весь день я трудился над гигантскими половинами. Потом сложил разделанные в поленья останки пня и поразился величине поленницы.

Великая эта мудрость — помаленьку-полегоньку. С бока, с краешка, по щепочке, по лучиночке. Топлю печь, смолой пахнет, и с какой же благодарностью я вспоминаю те дни, когда шла битва с пнем.

Так бы нам во всем — помаленьку, потихоньку. Куда торопиться, ведь не под гору катимся — в гору идем. Тихий воз на горе будет.

О языке Богослужения

Переход Богослужения на современный язык — это измена Богу, предательство России, позор перед Святыми.

Именно так. Сказано нам, что Церковь Христова всегда будет гонима, и это постоянно сбывается. Атеизм сменился сатанизмом, мир не просто во зле лежит, в нем купается, безумствует и, как всякий заразный, пытается заразить и здоровых, в данном случае то последнее, что осталось в этом мире для спасения души — Веру Православную.

Кровь мучеников раннего христианства, кровь страдальцев нового времени вопиет к нам: за что они умирали, шли на Крест? За то, чтобы потомки отказались от главной иконы Богослужения, от языка, на котором свершается Богослужение? Переделывать язык Церкви в угоду современности? Да это позор, кощунство и надругательство.

Какая современность? Ее нет. У Бога нет времени, у Него все враз, а у нас только летящие мгновения жизни от рождения к смерти. И истории никакой нет, есть одно в мире: мир или приближается ко Христу, или удаляется от Него. Несомненно, реформа языка — это угождение сатане, удаление от Света.

Как можно испачкать икону, как можно исказить, изуродовать язык? Это все равно, что замазать грязью ограненный алмаз и этим погасить его сияние.

«Господь воцарися, в лепоту облечеся». И как вы, очередные реформаторы (о, сколько вас было), как это переведете? Мало вам примера латинян, протестантов, несчастных поляков, пошедших на сделки с духом века сего.

Реформа оправдывается тем, что якобы церковнославянский язык непонятен. Кому? Только новичкам да лентяям. Новичкам, если они верят в Бога, «со страхом» Божиим приступают к Христовым тайнам, через год-полтора все будет ясно и понятно в Божественной Литургии. Да даже и раньше. Есть теперь, не советское же время, много хорошей литературы, истолкований. Ходи в храм и читай Священное Писание, труды святых отцов, которые, вот уж точно, были бы возмущены новыми нападками на тексты молитв. А подстраиваться под лентяев, которые резво, для успехов в бизнесах, бегают на курсы английского, а свое родное встречают в штыки, зачем нам? Нет, переделки Богослужения — это тонко рассчитанное нападение на душу православную.

Молчанием Бог предается. И хорош был бы я, первый лауреат Патриаршей премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, если бы стыдливо прикрылся фразами, что священноначалию лучше

знать, что мирянам полезно, а что вредно. Больше тысячи лет молились на языке, приближающем нас к Богу, а теперь вот, видите ли, надо к жизни приближаться. Жизнь моментальна. А Бог вечен. И Россия живет не во времени, а в вечности. Нельзя молчать, когда уже в первых шагах, то есть в первых разговорах по осовремениванию Богослужения, слышатся отдаленные раскаты нового раскола. Именно к этому ведут нас теперь уже не просто неообновленцы, а уже нео-нео. И как прикажете тогда называть Церковь? Истинно современная кочетковствующая, католиковствующая?

Наша надежда — на мудрость наших пастырей и архипастырей. Ну как будет возглашать батюшка: «Вонмем!»? «Премудрость прости!»

Продолжение следует.